

Глава XXIII

Устроившись в новой комнате, я сразу же пошла повидаться с Юстусом Швабом. Я застала его в постели, от него осталась лишь тень того, каким он был раньше. Комок подкатил к горлу при виде того, как осунулся наш гигант. Я знала, что миссис Шваб много работала, занимаясь кабаком, и упростила её позволить мне ухаживать за Юстусом. Она пообещала, хотя была уверена, что больной не позволит никому, кроме неё, о себе заботиться. Нам было известно о нежных отношениях, существующих между Юстусом и его семьёй. Жена была его спутницей все эти годы. Она всегда отличалась крепким здоровьем, но болезнь Юстуса, беспокойство и тяжкий труд заметно сказывались на ней: она потеряла свой румянец и выглядела бледной.

Пока я разговаривала с миссис Шваб, вошёл Эд. Он засмутился, увидев меня, я тоже растерялась. Он быстро взял себя в руки и подошёл к нам. Миссис Шваб извинилась, сказав, что ей нужно присматривать за пациентом, и мы остались вдвоём. Это был мучительный момент: никто из нас не знал, как было бы правильно себя вести.

Я не общалась с Эдом во время поездки за границу, но знала о его жизни от друзей, которые писали мне, что у Эда родился ребёнок. Я спросила, каково ему быть отцом. Он сразу оживился и затянул длинную песню о своей дочурке, о её очаровании и удивительном уме. Меня позабавило, как восторженно распинается этот детоненавистник. Я вспомнила, что он всегда отказывался снимать квартиру в доме с детьми. «Я вижу, что ты мне не веришь, — вдруг заметил он, — ты удивлена, что я так этому рад. Это не потому, что мне случилось стать отцом, а потому, что моя малышка действительно исключительный ребёнок». Поразительно было слышать такое от мужчины, который раньше говорил, что «большинство людей глупы, но родители и глупы, и слепы: они представляют, что их дети одарённые, и ожидают, что весь мир будет думать так же».

Я уверила его, что не сомневаюсь в исключительности ребёнка, но, чтобы удостовериться в том, что он говорит, нужно позволить мне увидеть эту чудо-малышку. «Ты на самом деле хочешь её видеть? Ты действительно хочешь, чтобы я её к тебе привёл?» — воскликнул он. «Ну да, конечно, — ответила я. — Ты знаешь, что мне всегда нравились дети — почему мне не понравится твой ребёнок?» Он минутку помолчал. Затем сказал: «Наша любовь не была слишком успешной, правда?» «А такая вообще бывает? — ответила я. — Наша длилась семь лет, многие считают, что это долго». «Ты помудрела за последний год, дорогая Эмма», — ответил он. «Нет, всего лишь постарела, дорогой Эд». Мы расстались, договорившись, что вскоре встретимся вновь.

На русской новогодней вечеринке Эд появился с женщиной, и я была уверена, что это его жена. Она была огромной и довольно громко разговаривала. Эд всегда ненавидел эту черту в женщинах, как он мог теперь это выносить? Меня окружили друзья, а товарищи с Ист-Сайда стали расспрашивать о движении в Англии и Франции. Больше тем вечером я Эда не

видела.

Самой большой необходимостью по приезде в Америку было устроиться на работу. Я оставила визитную карточку у некоторых моих друзей, связанных с медициной, но недели шли, а звонков всё не было. Ипполит пробовал заняться чем-нибудь в чешском анархистском издании. Там была куча работы, но не было оплаты: считалось неэтичным получать деньги за статьи в анархистской газете. Все иностранные издания, за исключением Freiheit и Freie Arbeiter Stimme, выживали за счёт добровольного труда мужчин, которые зарабатывали какой-нибудь торговлей, безвозмездно отдавая своё свободное время по вечерам и воскресеньям движению. Ипполит, не имевший профессии, в Нью-Йорке был ещё беспомощнее, чем в Лондоне. Пансионы в Америке редко нанимали мужчин.

Наконец, в рождественский сочельник, за мной послал доктор Хоффман. «Пациентка — морфиновая наркоманка, — рассказал он, — очень сложное и утомительное дело. Ночной медсестре пришлось дать неделю отпуска — она не смогла больше выносить напряжения. Тебя вызвали подменить её». Перспектива была не заманчивая, но я нуждалась в работе.

Была уже почти полночь, когда мы с доктором приехали в дом пациентки. В большой комнате на втором этаже в беспмятстве лежала полураздетая женщина. Её лицо, окаймлённое копной чёрных волос, было белым; она тяжело дышала. Оглядевшись, я заметила на стене портрет грузного мужчины, который пристально смотрел на меня маленькими холодными глазами. Я поняла, что видела этого человека раньше, но не могла вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Доктор Хоффман принялся давать мне указания. Он сказал, что пациентку зовут миссис Спенсер. Он лечил её какое-то время, пытаясь избавить от наркозависимости. Она шла на поправку, но недавно случился рецидив, и пациентка снова пристрастилась к морфину. С ней ничего нельзя поделать, пока она не выйдет из оцепенения. Я должна измерять ей пульс и держать её в тепле. Ночью миссис Спенсер почти не шевелилась. Я попыталась скоротать время за чтением, но не могла сосредоточиться. Меня преследовал портрет мужчины на стене. Когда пришла дневная медсестра, пациентка ещё спала, хотя дышала уже спокойнее.

Вскоре неделя подошла к концу. Всё это время миссис Спенсер не проявляла никакого интереса к тому, что её окружало. Она открывала глаза, смотрела безучастным взглядом и снова проваливалась в сон. Когда я заступила на смену на шестую ночь, она уже полностью пришла в себя. Её волосы выглядели очень неухоженными, и я спросила, не хочет ли она, чтобы я расчесала и заплела её. Она с радостью согласилась. Когда я этим занялась, она поинтересовалась, как меня зовут. «Гольдман», — сказала я. «Ты родственница анархистки Эммы Гольдман?» «Очень даже близкая, — ответила я. — Эмма Гольдман перед вами». К моему удивлению, оказалось, что ей очень приятно иметь такую «известную персону» в качестве своей медсестры. Миссис Спенсер попросила взять на себя уход за ней и сказала, что я ей нравлюсь больше других сестёр. Моему профессиональному тщеславию это льстило, но я не считала, что справедливо будет, если других медсестёр лишат из-за меня работы. Кроме того, я бы не выдержала смены, которая длится сутки напролёт. Она умоляла меня остаться, обещая, что у меня каждый день будет свободное время по вечерам, и по ночам я также буду отдыхать.

Некоторое время спустя миссис Спенсер спросила, знаю ли я человека на портрете. Я сказала, что он выглядит знакомым, но я не могу его вспомнить. Она не стала развивать эту тему.

Дом, мебель и большая библиотека книг — всё свидетельствовало о хорошем вкусе их владелицы. В квартире царил таинственная атмосфера, которая усиливалась ежедневными визитами какой-то вызывающе одетой и непристойно выглядевшей женщины. Когда она приходила, моя пациентка сразу же отправляла меня по какому-нибудь поручению. Я с радостью принимала возможность пройтись на свежем воздухе, в то же время задаваясь вопросом, кто же эта женщина, с которой миссис Спенсер непременно хотела остаться наедине. Сначала я подозревала, что странная посетительница приносит ей наркотики, но, поскольку её визиты никак не отражались на моей пациентке, я посчитала, что это дело меня не касается.

В конце третьей недели миссис Спенсер уже смогла спускаться вниз в гостиную. Прибирая комнату больной, я наткнулась на странные обрывки бумаги с записями: «Жанет — 20 раз; Мэрион — 16; Генриэтта — 12». Там было около сорока женских имён, каждое сопровождалось цифрой. «Какие странные записи!» — подумала я. Я уже хотела спуститься к пациентке в гостиную, когда меня остановил голос, по которому я узнала посетительницу миссис Спенсер. «Мак-Интайр был в доме снова прошлой ночью, — слышала я её голос, — но ни одна девушка не захотела с ним идти. Жанет сказала, что лучше возьмёт двадцать заказов, чем свяжется с этим грязным созданием». Миссис Спенсер, должно быть, услышала мои шаги, потому что внезапно разговор оборвался, и она спросила через дверь: «Это вы, мисс Гольдман? Пожалуйста, входите». Когда я вошла, чайный поднос, который я несла, рухнул на пол, а я остановилась, глядя на человека, сидевшего на диване рядом с моей пациенткой. Это был мужчина с портрета, и я сразу узнала в нём детектива-сержанта, который был причастен к моему заключению в тюрьму в 1893 году.

Обрывки бумаги, разговор, который я невольно услышала, — я всё сразу поняла. Спенсер содержала публичный дом, а детектив был её любовником. Я побежала на второй этаж с единственной мыслью в голове: убраться из этого дома. Сбегая вниз со своим чемоданом, я увидела у подножия лестницы миссис Спенсер: она едва стояла на ногах, руки нервно вцепились в поручень. Я поняла, что не могу оставить её в таком состоянии, всё же я отвечала перед доктором Хоффманом, которого обязана дожидаться. Я отвела миссис Спенсер в комнату и уложила её в постель.

Она разразилась истерическими рыданиями, умоляя меня не уходить и уверяя, что я больше никогда не увижу этого мужчину, она даже уберёт его портрет. Она призналась, что является хозяйкой борделя. «Я боялась, что ты об этом узнаешь, — сказала она, — но я думала, что Эмма Гольдман, анархистка, не осудит меня за то, что я всего лишь винтик системы, которая придумана не мной». Она утверждала, что проституцию создала не она, и, поскольку бордели уже существуют, не важно, кто ими «заправляет». Если не она, то найдутся другие. Она не считала, что содержать девушек — это хуже, чем платить им гроши на фабриках; по крайней мере она всегда была с ними добра. Я сама могу у них спросить, если хочу. Она говорила без умолку, исступлённо рыдая. Я осталась.

На меня не подействовали «оправдания» миссис Спенсер. Я знала, что все прикрываются одними и теми же отговорками, делая злые дела: полицейский и судья, солдат и генерал — все, кто живёт за счёт труда и использования других людей. Однако я считала, что меня как медсестру не должна заботить определённая профессия или работа моих пациентов. Мне нужно было следить за их физическим состоянием. Кроме того, я была не только сестрой, но и анархисткой, которой было известно о социальных факторах, стоящих за действиями человека. Собственно, даже в большей степени поэтому, чем из-за того, что я являлась медсестрой, я не могла отказать в своих услугах.

Четыре месяца, проведённые с миссис Спенсер, подарили мне значительный опыт в изучении психологии. Она была необычным человеком, умным, наблюдательным и понимающим. Она знала жизнь и мужчин, всяких мужчин, из каждого социального сословия. Дом, который она содержала, был «высокого класса»: среди постоянных посетителей числились и виднейшие столпы общества: доктора, адвокаты, судьи и проповедники. Оказалось, что мужчина, которого девушки «ненавидели, как чуму», был не кто иной, как нью-йоркский юрист, известный в 90-х — тот самый, который убедил присяжных, что, если оставить Эмму Гольдман на свободе, это поставит под угрозу жизнь детей богатых и зальёт улицы Нью-Йорка кровью.

Действительно, миссис Спенсер знала мужчин, и, зная их, она испытывала к ним только презрение и ненависть. Снова и снова она говорила, что ни одна из её девушек не является такой же испорченной и напроочь лишённой человечности, как мужчины, которые их покупают. Когда «гость» жаловался, она всегда принимала сторону девушек. Она часто показывала, что умеет сострадать — и не только своим девушкам, со многими из которых я познакомилась и поговорила, — она была добра ко всем бродягам на улице. Она безмерно любила детей: подходила к какому-нибудь проказнику, не важно, насколько потрёпанным он выглядел, гладила его и давала деньги. Неоднократно я слышала, как она восклицала: «Если бы только у меня был ребёнок! Мой собственный ребёнок!»

Её история подошла бы для настоящего романа. Когда ей было шестнадцать, она влюбилась в удалого офицера в Рутении¹¹⁶, на своей родине. Обещая на ней жениться, он сделал её своей любовницей. Когда она забеременела, он забрал её в Вену, где она чуть не умерла от операции. Когда она выздоровела, они вместе поехали в Краков, где мужчина оставил её в публичном доме. У неё не было денег, она не знала ни души в этом городе и стала рабыней в притоне. Позже один из посетителей выкупил её и взял с собой в длительную поездку. Пять лет она ездила по Европе со своим хозяином, а потом снова оказалась без друзей на улице, которая стала её единственным прибежищем. Прошло несколько лет. Она поумнела, скопила кое-какие деньги и решила поехать в Америку. Здесь она познакомилась с богатым политиком. К тому моменту, как он её оставил, у неё было достаточно средств, чтобы открыть публичный дом.

Примечательно, что на миссис Спенсер не повлияли несчастья, через которые ей пришлось пройти. В ней не было ни крупницы грубости, и она осталась трогательно-чувствительной, любила музыку и хорошую литературу.

Лечение доктора Хоффмана постепенно отучило её от наркотиков, но она стала слабее физически и испытывала частые приступы головокружения. Она не могла выходить на улицу одна, и я стала не только её медсестрой, но и спутницей. Я читала ей, сопровождала на концерты, в оперу, театр, иногда даже на лекции, которыми она интересовалась.

Пока я ухаживала за миссис Спенсер, мне пришлось заниматься подготовительной работой для планируемого визита Петра Кропоткина. Он сообщил, что приезжает в Америку прочитать серию лекций на тему идеалов в русской литературе в Институте Лоуэлла и что, если мы захотим, он также может поговорить об анархизме. Мы обрадовались такой перспективе. Я пропустила прошлый лекционный тур нашего дорогого товарища. В Англии у меня не было возможности его послушать. Мы все считали, что лекции Петра и его располагающие к себе личностные качества сослужат бесценную службу нашему движению в Соединённых Штатах. Когда миссис Спенсер узнала о моей деятельности, она сразу же предложила освободить мои вечера, чтобы я могла посвятить больше времени этой работе.

Люди стекались из всех частей города в Гранд Централ Палас, чтобы послушать Петра Кропоткина в первое воскресенье мая. На этот раз даже газеты были сдержаны: они не могли отрицать его очарование, силу его интеллекта, простоту и логичность его манеры речи и аргументации. Среди слушателей была и миссис Спенсер, полностью увлечённая оратором.

Мы приготовили неформальную вечеринку для Кропоткина, чтобы он смог познакомиться с товарищами и другими симпатизирующими нашим идеям. Миссис Спенсер поинтересовалась, пустят ли её. «Что, если твои друзья узнают, кто я?» — взволнованно спросила она. Я уверила её, что мои друзья ни в коей мере не похожи на Энтони Комстока и что никто ни словом, ни делом не заставит её чувствовать себя чужой. Она удивлённо посмотрела на меня блестящими глазами.

Вечером накануне вечеринки я и несколько ближайших товарищей ужинали с нашим любимым учителем. Я рассказала им историю миссис Спенсер. Пётр очень заинтересовался; он считал, что её история — интересный пример взаимоотношений в обществе. Конечно, он встретится с моей пациенткой и подпишет копию своих мемуаров для неё, как она хотела. Перед уходом Пётр обнял меня. «Ты подаёшь убедительный пример достоинства и человечности наших идеалов», — заметил он. Я знала, что он, способный к состраданию, понимает, почему я осталась ухаживать за этой отверженной обществом.

Наконец моя пациентка достаточно выздоровела, чтобы обходиться без меня. Я ужасно хотела отправиться в тур. Товарищи из нескольких городов уговаривали меня приехать с лекциями. Были и другие причины. Одной из них был Питтсбург. Я не надеялась увидеться с Сашей: ему запретили любые свидания после моего ужасного столкновения с тюремным инспектором Ридом. С тех пор как провалилась затея с туннелем, мой измученный мальчик был в одиночке, и его лишили всех прав. В редких подпольных записках, которые ему удавалось переправить на волю, не было и намёка на то, что ему пришлось вынести. Они только подкрепляли ощущение безнадёжности ситуации. Я продолжала писать ему, но это было то же, что посылать письма в пустоту. Я никак не могла узнать, получает ли он их. Тюремная администрация никогда не позволит мне увидеть Сашу, но им не удастся

препятствовать моей поездке в Питтсбург, где я смогу почувствовать, что он близко.

Ипполит уехал в Чикаго писать для Arbeiter Zeitung. Предложение работы пришло в период, когда жизнь стала для него невыносимой, и он, в свою очередь, усугублял моё несчастье. Мысль, что он теперь возобновит дружбу с Максом, которая снижала его напряжение, а также то, что он нашёл работу, для которой подходит, очень меня утешала. Я планировала встретиться с ним в Чикаго.

Эд часто приходил ко мне или приглашал на ужин. Он был очарователен, и не осталось ни следа того урагана, что бушевал на протяжении семи лет. Настало время спокойной дружбы. Он не приводил свою дочь, и я подозревала, что мать, должно быть, против того, чтобы я виделась с ребёнком. Я не знала, выступает ли она против нашего общения. Эд никогда о ней не говорил. Узнав, что я снова хочу отправиться в тур, он попросил меня опять побыть представительницей его фирмы.

Перед отъездом на Запад я заехала в Патерсон, штат Нью-Джерси, где местная итальянская группа организовала для меня митинг. Наши итальянские товарищи всегда были очень гостеприимны, и в этот раз они приготовили неформальную вечеринку после лекции. Я была рада возможности узнать больше о Бреши и его жизни. То, что я узнала от его ближайших товарищей, ещё раз убедило меня, как трудно постичь человеческую душу и как часто мы готовы судить людей по внешним проявлениям.

Гаэтано Бреши был одним из основателей La Questione Sociale («Социальный вопрос»), итальянской газеты, выпускаемой в Патерсоне. Он был умелым ткачом, работодатели считали его спокойным трудолюбивым человеком, но он зарабатывал лишь пятнадцать долларов в неделю. Он содержал жену и ребёнка, и тем не менее ему удавалось еженедельно сдавать пожертвования на газету. Он даже собрал сто пятьдесят долларов, которые одолжил группе La Questione Sociale в тяжёлые времена. По вечерам и воскресеньям он помогал работой по офису и занимался пропагандой. Все члены группы его любили и уважали за усердие.

И вдруг однажды Бреши неожиданно попросил отдать долг. Ему сказали, что это невозможно: у газеты не было средств, на самом деле, она была в минусе. Но Бреши настаивал и даже отказывался как-то пояснить свои требования. Наконец группе удалось раздобыть достаточно денег, чтобы выплатить долг Бреши. Но итальянские товарищи очень обиделись на поведение Бреши, назвав его скупцом, которому деньги были дороже своего идеала. Большинство друзей даже перестали с ним общаться.

Несколько недель спустя появилась новость о том, что Гаэтано Бреши убил короля Умберто. Его поступок заставил группу Патерсона осознать, как жестоко они в нём ошиблись. Он настаивал на возврате денег, чтобы купить билет до Италии! Несомненно, понимание итальянскими товарищами собственной несправедливости по отношению к Бреши было сильнее, чем его обида на них. Чтобы хоть как-то искупить вину, группа Патерсона решила поддерживать прекрасную малышку, ребёнка товарища, преданного мученической смерти. Вдова Бреши, с другой стороны, ничем не показывала, что отдаёт себе отчёт о моральной силе отца своего ребёнка или сочувствует его великой жертвенности.

Название моей лекции в Кливленде, которая прошла в начале мая того года, было «Анархизм»; я прочитала её перед Либеральным клубом Франклина, радикальной организацией. Во время перерыва перед обсуждением я заметила мужчину, который разглядывал заголовки брошюр и книг, продающихся около трибуны. Вскоре он обратился ко мне с вопросом: «Посоветуете мне что-нибудь почитать?» Он объяснил, что работает в Акроне, и ему придётся уйти до конца митинга. Он был очень молод, совсем мальчик, среднего роста, хорошо сложен и держался очень прямо. Меня привлекло его лицо, очень нежное, розового цвета; ещё более красивым его делали кучерявые золотистые волосы. В больших голубых глазах была видна сила. Я выбрала ему пару книг и сказала, что в них он найдёт всё, что его интересует. Я вернулась на трибуну, чтобы начать дискуссию, и больше тем вечером я его не видела, но это потрясающее лицо осталось у меня в памяти.

Семья Исааков перевезла Free Society в Чикаго, где они заняли большой дом, который стал центром анархистской активности в этом городе. По приезде туда я пошла к ним и сразу же погрузилась в напряжённую работу длиной в одиннадцать месяцев. Летняя жара стала такой утомительной, что остаток тура пришлось отложить до сентября. Я чувствовала себя полностью опустошённой и срочно нуждалась в отдыхе. Сестра Елена неоднократно просила меня приехать к ней на месяц, но раньше мне не удавалось выкроить время. Теперь у меня появилась такая возможность. Я проведу несколько недель с Еленой, детьми обеих сестёр и Егором, который приехал в Рочестер на каникулы. Он написал, что с ним были два приятеля из колледжа; чтобы дополнить круг молодёжи, я пригласила Мэри, четырнадцатилетнюю дочь Исааков, присоединиться ко мне. Я немного заработала на заказах Эда и могла позволить себе сыграть роль леди Баунтифул¹¹⁷ для молодых людей; в их компании я сама становилась моложе.

В день отъезда Исааки приготовили мне прощальный обед. Позже, когда я занялась упаковыванием вещей, кто-то позвонил в дверь. Мэри Исаак вошла передать мне, что какой-то молодой человек, представившийся Ниманом, срочно просит меня спуститься. Я не знала никого с таким именем и спешила — нужно было ехать на вокзал. Я нетерпеливо попросила, чтобы Мэри сказала посетителю, что у меня сейчас нет времени, но он может поговорить со мной по дороге на вокзал. Выйдя из дома, я увидела гостя и сразу узнала в нём красивого парня, который просил меня посоветовать ему книги на митинге в Кливленде.

Держась за ремни поезда надземной железной дороги, Ниман рассказал мне, что он является членом социалистического профсоюза в Кливленде, что считает других членов глупыми, так как им недостаёт дальновидности и энергичности. Он не мог больше сотрудничать с ними и уехал из Кливленда, а сейчас работает в Чикаго и хочет поближе познакомиться с анархистами.

На вокзале меня ждали друзья, среди которых был Макс. Я хотела провести с ним пару минут и просила Ипполита позаботиться о Нимане и представить его товарищам.

Рочестерская молодёжь очень со мной подружилась. Дети моих сестёр, брат Егор и его приятели, молодая Мэри — все вместе наполнили эти дни прелестью, которую могут дать только молодые страстные души. Это был новый бодрящий опыт, и я полностью ему отдавалась. Крыша Елениного дома стала нашим садом и местом сбора, где мои молодые

друзья раскрывали мне свои мечты и желания.

Особенно приятными были пикники с молодёжью. Гарри, старший сын Лины, в свои десять лет уже был республиканцем и блестящим агитатором. Было забавно слушать, как он защищает своего героя Мак-Кинли и спорит со своей Tante Emma. Он, как и вся семья, относился ко мне с обожанием, однако сожалел, что я не принадлежу к его лагерю. Сакс, брат Гарри, был совершенно на него не похож. По характеру он больше походил на Елену, чем на свою мать, обладая скромностью и неуверенностью первой и производя такое же впечатление печального человека. Он обладал столь же бесконечной способностью к любви, какая была у Елены. Его идеалом был Дэвид, младший сын Елены, чьё слово было законом для Сакса. Это было неудивительно, поскольку Дэвид был прекрасным мальчиком. Своим великолепным телосложением и приятной внешностью, необычным музыкальным талантом и любовью к веселью он мог покорить сердце каждого. Я любила всех детей, но после Стеллы ближе всех мне был Сакс, главным образом потому, что я знала: он не обладал суровым характером, необходимым для жизненной борьбы.

Мои каникулы в Рочестере были немного подпорчены заметкой в Free Society с предупреждением о личности Нимана. Её написал А. Исаак, редактор газеты, и там говорилось о том, что из Кливленда поступила новость, будто этот человек задаёт подозрительные вопросы и пытается затесаться в анархистские круги. Товарищи из Кливленда сделали вывод, что он, должно быть, шпион.

Я очень разозлилась. Предъявить такие обвинения на таких неубедительных основаниях! Я сразу же написала Исааку, требуя более правдоподобных доказательств. Он ответил, что, хотя у него нет других доводов, он всё равно считает Нимана недостойным доверия, потому что тот постоянно говорит о насилии. Я написала ещё один протест. В следующем номере Free Society опубликовали опровержение.

Меня заинтересовала панамериканская выставка, которая проходила в Буффало, и я уже давно хотела посмотреть на Ниагарский водопад. Но я не могла оставить своих прелестных подростков, а у меня не хватало денег взять их с собой. Доктор Каплан, друг из Буффало, который знал, что я отдыхаю у родственников, разрешил наши трудности. Он и раньше приглашал меня в гости и предлагал взять друзей. Когда я ему написала, что мои скромные средства не позволяют такой роскоши, он позвонил мне по междугороднему телефону и предложил сорок долларов на расходы и свой дом в качестве пристанища на неделю. В радостном предвкушении приключения я взяла старших детей в Буффало. Нам устроили многочисленные прогулки, мы съездили на водопад, посмотрели выставку и насладились музыкой и вечеринками, а также собраниями с товарищами, где молодое поколение на равных участвовало в обсуждениях.

По возвращении из Рочестера я нашла два письма от Саши. Первое, подпольное, датированное 10 июля, очевидно, задержалось в пересылке. Его содержание привело меня в отчаяние. Он писал:

«Из больницы. Только из смиренной рубашки, после восьми дней. Почти год я провёл в строжайшем одиночестве; долгое время письма и книги были мне запрещены... Я пережил

колоссальный кризис. Два моих лучших друга умерли при страшных обстоятельствах. На меня особенно повлияла смерть Рассела. Очень молодой, он был моим самым дорогим и верным другом; он умер ужасной смертью. Доктор обвинил его в том, что он притворяется мёртвым, а сейчас говорит, что у него был спинальный менингит. Я не могу рассказать тебе ужасную правду — это было не что иное, как убийство, и тело моего бедного друга разлагалось дюйм за дюймом. Когда он умер, его спина была одним сплошным пролежнем. Если бы ты могла прочесть его жалобные письма, в которых он умолял, чтобы ему разрешили встретиться со мной и позволили мне за ним ухаживать! Но смотритель не позволил. В какой-то мере его агония, казалось, передалась и мне, и я начал испытывать боли и симптомы, о которых Рассел рассказывал в своих записках. Я знал, что это моё воспалённое воображение; я боролся с ним, но вскоре в ногах стал проявляться паралич, и я испытывал мучительную боль в позвоночнике, прямо как Рассел. Я боялся, что кончу так же, как и мой несчастный друг... Я был на грани самоубийства. Я требовал, чтобы меня выпустили из камеры, и смотритель приказал наказать меня. На меня надели смирительную рубашку. Они обернули моё тело тканью, пристегнули руки к кровати и приковали ноги к стойкам. В таком виде я пролежал восемь дней, загнивая в собственных экскрементах. Освобождённые заключённые привлекли внимание нашего нового инспектора к моему делу. Он отказывался верить, что подобные вещи творятся в тюрьме. Распространилась информация о том, что я слепну и схожу с ума. Тогда инспектор приехал в больницу и освободил меня из смирительной рубашки. Я в довольно плохом состоянии, но сейчас меня посадили в обычную камеру, и я рад возможности снова послать тебе пару строк».

Вот изверги! Им было бы удобно избавиться от Саши, сослав его в сумасшедший дом или заставив покончить с жизнью. Меня убивала мысль о том, что я жила в мире мечтаний, молодых забав и веселья, пока Саша переживает адские муки. Моё сердце кричало: «Несправедливо, что он один продолжает за всё платить! Несправедливо!» Мои молодые сочувствующие друзья собрались вокруг меня. Большие глаза Стеллы наполнились слезами. Егор протянул второе письмо со словами: «На этом более поздняя дата. Там могут быть новости лучше». Я уже боялась открывать его. Едва я прочитала первый абзац, как радостно воскликнула: «Дети! Стелла, Егор! Сашин срок сократили! Осталось всего пять лет — и он будет свободен! Только подумайте — всего пять лет!» Задержав дыхание, я продолжала читать. «Я могу снова к нему прийти! — воскликнула я. — Новый смотритель вернул ему права — он может видаться с друзьями!» Я бегала по комнате смеясь и плача.

Елена взбежала по лестнице, а за ней Яков. «Что такое? Что случилось?» Я могла только кричать: «Саша! Мой Саша!» Сестра осторожно усадила меня на диван, взяла письмо у меня из рук и стала читать его вслух дрожащим голосом:

Прямая доставка в ящик А7.

г. Аллегени, шт. Пенсильвания

25 июля 1901 г.

Дорогая подруга,

не могу передать, как я счастлив от того, что мне снова разрешили тебе писать. Мои права вернул новый инспектор, очень добрый человек. Он освободил меня из камеры, и теперь я снова в зоне. инспектор попросил меня опровергнуть ту информацию, которую мои друзья распространили в прессе о моём состоянии. В последнее время мне не очень хорошо, но я надеюсь поправиться. У меня очень слабое зрение. инспектор разрешил, чтобы меня осмотрел специалист. Пожалуйста, найди кого-нибудь через наших местных товарищей.

Есть ещё одна очень хорошая новость, милая подруга. Приняли новый закон об амнистии, который сокращает мой срок на два с половиной года. Конечно, всё же мне остаётся ещё долго сидеть: почти четыре года здесь и ещё год в исправительной тюрьме. Однако это значительный прорыв, и, если я опять не попаду в одиночку, я могу — я почти боюсь произносить эту мысль вслух, — я могу дожить до освобождения. Я будто бы родился заново. От нового закона в большей степени выигрывают заключённые с короткими сроками, чем с длинными. Только на несчастных осуждённых пожизненно закон не распространяется. Какое-то время мы очень переживали, потому что ходили слухи, что закон объявят неконституционным. К счастью, попытка свести на нет его пользу оказалась безуспешной. Подумай о людях, которые усмотрят что-то неконституционное в том, чтобы позволить заключённым немного раньше выйти из тюрьмы, чем закон об амнистии сорокалетней давности. Как будто немного доброты к несчастным — настоящая справедливость — несовместима с духом Джефферсона! Мы очень беспокоились о судьбе этого закона, но наконец первую партию освободили, и люди выразили по этому поводу бурный восторг. С этим законом связана странная история, которая тебе может показаться интересной; она проливает свет на важную информацию, которая просочилась в прессу. Закон был предназначен специально для высокопоставленного федерального офицера, которого недавно посадили в тюрьму за содействие двум богатым производителям табака из Филадельфии в обмане правительства на несколько миллионов с помощью поддельных акцизных марок. Их влияние обеспечило предложение проекта закона об амнистии и его быстрое принятие. Закон сократил бы им срок почти вдвое, но отдельные газеты обиделись на то, что их держали в неведении о «сделке», и это вызвало протесты. В конце концов дело попало в руки главного прокурора Соединённых Штатов, который решил, что люди, в интересах которых разрабатывался проект, не смогут им воспользоваться, поскольку закон штата не распространяется на заключённых США, они подчиняются Федеральному акту об амнистии. Представь себе конфуз политиков! Была даже совершена попытка отложить принятие закона. К счастью, она провалилась, и теперь «обычные» заключённые штата, которые вообще не должны были получить снисхождение, выходят на свободу. Законодательство непреднамеренно одарило счастьем многих бедолаг. Мне пришлось прервать письмо, поскольку меня вызвали на свидание. Я не мог в это поверить: это первый товарищ, которого я увидел за девять лет! Это был Гарри Гордон, и на меня так подействовал вид дорогого друга, что я едва мог говорить. Должно быть, он повлиял на нового инспектора, чтобы тот подписал разрешение. Он сейчас занимает пост исполняющего обязанности смотрителя, потому что капитан Райт серьёзно болен. Возможно, он разрешит мне увидеться с сестрой. Ты можешь сразу же с ней связаться? В это время я попробую раздобыть разрешение. С новой надеждой и как всегда с памятью о тебе,

Алекс.

«Наконец-то, наконец-то чудо!» — воскликнула Елена со слезами. Она всегда восхищалась Сашей. С тех пор как его посадили в тюрьму, она проявляла живой интерес к его состоянию и к каждой весточке, которая приходила из этой могилы, где он был похоронен заживо. Она разделяла моё горе, а теперь радовалась со мной этой прекрасной новости.

И снова я была в стенах Западной тюрьмы, сердце колотилось, а я старалась уловить звуки Сашиних шагов. Девять лет прошло с того ноябрьского дня в 1892 году, когда состоялась наша мимолётная встреча, после которой вновь наступила разлука, — девять лет, наполненных мучениями от бесконечности времени.

«Саша!» — я бросилась к нему с распростёртыми объятиями. Я увидела охранника, а за ним человека в сером костюме и с лицом такого же серого цвета. Разве это может быть Саша, такой изменившийся, такой худой и бледный? Он молча сидел рядом со мной и вертел в руках цепочку от моих карманных часов. Я напряжённо ждала, пытаюсь уловить хоть слово. Саша не издавал ни звука. Только глаза его смотрели на меня в упор, забираясь мне прямо в душу. Это были Сашины глаза, испуганные, измученные глаза. Из-за них мне хотелось рыдать. Я тоже молчала.

«Время вышло!» — от этих слов у меня кровь застыла в жилах. Тяжело шагая, я вернулась в коридор, вышла за ограду, через железные ворота на улицу.

В тот же день я уехала из Аллегени в Сент-Луис, где меня встретил Карл Нольд, с которым мы не виделись три года. Карл остался прежним, ему не терпелось услышать новости о Саше. Он уже знал о неожиданном изменении его статуса и просто ликовал по этому поводу. «Так ты его видела? — воскликнул он. — Быстро рассказывай мне всё».

Я рассказала, что могла, о том мрачном свидании. Когда я закончила, он сказал: «Боюсь, что твой приход в тюрьму случился слишком быстро после времени, проведённого в одиночке. Целый год вынужденной изоляции, никакой возможности перебраться с кем-нибудь словом или услышать дружелюбный голос. Ты становишься молчаливым и неспособным выражать готовность к человеческому контакту». Теперь я поняла Сашино испуганное молчание.

На следующий день, 6 сентября, я посетила все крупные магазины канцелярских товаров и новинок в Сент-Луисе на предмет заказов для фирмы Эда, но мне не удалось никого заинтересовать своими образцами. Только в одном магазине меня пригласили зайти завтра, чтобы встретиться с хозяином. Я, усталая, стояла на углу улицы, ожидая конку, как вдруг услышала голос мальчика: «Специальный выпуск! Специальный выпуск! Убит президент Мак-Кинли!» Я купила газету, но конка была переполнена, и читать было невозможно. Люди вокруг говорили о том, как стреляли в президента.

Карл приехал домой раньше меня. Он уже прочитал репортаж. Президента на Выставке в Буффало убил молодой человек по имени Леон Чолгош. «Я никогда не слышал этого имени, — сказал Карл, — а ты?» «Нет, никогда», — ответила я. «Тебе повезло, что ты здесь, а не в Буффало, — продолжал он. — Как обычно, газетчики свяжут тебя с этим происшествием». «Чепуха! — сказала я. — Американская пресса, конечно, странная, но вряд ли она сочинит

такую безумную историю».

На следующее утро я пошла в магазин канцелярских товаров на встречу с хозяином. После долгих уговоров я смогла получить заказ на общую сумму в тысячу долларов, самый большой, которого мне удавалось добиться. Разумеется, я очень этому обрадовалась. Пока я ждала, чтобы хозяин магазина заполнил бумаги на заказ, я наткнулась на заголовок газеты, лежащей у него на столе: «Убийца президента Мак-Кинли, анархист, признался, что его подстрекала Эмма Гольдман. Анархистку разыскивают».



Иллюстрация из газеты.

Заголовок: Эмма Гольдман, верховная жрица анархии, чьи речи толкнули Леона Чолгоша на преступление.

Мне стоило невероятного усилия, чтобы, сохранив хладнокровие, завершить сделку, только после этого я вышла из магазина. На ближайшем углу я купила несколько газет и зашла в ресторан, чтобы их прочесть. Там было полно деталей трагедии, а также репортаж о рейде полиции в дом Исаака в Чикаго и аресте всех, кто там находился. Газеты утверждали, что власти намерены удерживать заключённых, пока не найдётся Эмма Гольдман. Уже две сотни сыщиков по всей стране были отправлены на мои поиски.

На развороте одной из газет была фотография убийцы Мак-Кинли. «Да ведь это Ниман!» — потрясённо выговорила я.



Леон Чолгош

Прочитав все газеты, я поняла, что мне нужно сейчас же ехать в Чикаго. Семья Исааков, Ипполит, наш старый товарищ Джей Фокс, очень активный мужчина в рабочем движении, и многие другие содержались под арестом без права на освобождение под залог, пока меня не разыщут. Я была просто обязана сдать. Я знала, что не было ни мотивов, ни доказательств, которые бы связывали меня с убийством. Я поеду в Чикаго.

Выйдя на улицу, я столкнулась с В., «богатым мужчиной из Нью-Мексико», который организовывал мою лекцию в Лос-Анджелесе несколько лет назад. Увидев меня, он побелел от страха. «Ради всего святого, Эмма, что ты здесь делаешь? — произнёс он дрожащим голосом. — Ты что, не знаешь, что полиция всей страны ищет тебя?» Когда он говорил, его глаза беспокойно осматривали улицу. Было видно, что он в панике. Мне нужно было удостовериться, что он не станет раскрывать моё присутствие в этом городе. Я фамильярно взяла его за руку и прошептала: «Пойдём в какое-нибудь тихое место».

Сидя в углу, вдали от других посетителей, я сказала: «Однажды ты уверял меня в своей бессмертной любви. Ты даже сделал мне предложение. Это было всего четыре года назад. Осталось ли что-нибудь от твоего чувства? Если да, то дай мне слово чести, что ты никому не скажешь, что видел меня здесь. Я не хочу, чтобы меня арестовали в Сент-Луисе — я намерена предоставить эту честь Чикаго. Сейчас же скажи, могу ли я положиться на твоё молчание». Он торжественно поклялся.

Как только мы вышли на улицу, он поспешил удалиться. Я была уверена, что он сдержит слово, но поняла, что мой бывший поклонник не был героем.

Когда я рассказала Карлу, что еду в Чикаго, он сказал, что я выжила из ума. Он уговаривал меня бросить эту затею, но я была непреклонна. Он попросил меня собрать несколько доверенных друзей, чьё мнение для меня ценно, в надежде, что им удастся переубедить меня не сдаваться. Они спорили со мной несколько часов, но не смогли изменить моего решения. Я шутливо сказала, что лучше бы они устроили мне хорошие проводы, потому что, возможно, у нас не скоро появится возможность провести вместе весёлый вечер. Они заказали отдельную столовую в ресторане, где нам закатили луккулов пир, а потом

проводили меня на Уобашский вокзал, потому что Карл купил мне билет в спальном вагоне.

Утром вагон был охвачен возбуждённым настроением из-за трагедии в Буффало, Чолгоша и Эммы Гольдман. «Животное, кровожадный монстр! — услышала я. — Её нужно было уже давно упрятать за решётку». «Упрятать будет мало! — возразил другой пассажир. — Её стоит повесить на первом фонарном столбе».

Я слушала добрых христиан, лёжа на своей полке, и смеялась про себя от мысли о том, как бы они выглядели, если бы я вышла и заявила: «Дамы и господа, верные последователи покорного Иисуса, перед вами Эмма Гольдман!» Но у меня не хватило духу так их шокировать, и я осталась за шторкой.

Я оделась за полчаса до того, как поезд въехал на вокзал. На мне была маленькая соломенная шляпка с яркой голубой вуалью, которая тогда была в моде. Я не стала надевать очки и спустила вуаль на лицо. На платформе толпились люди, некоторые из них были похожи на сыщиков. Я попросила одного пассажира присмотреть за моими двумя чемоданами, пока я найду носильщика. Наконец, я отыскала его и прошла через всю платформу до своего багажа, а затем и обратно вместе с носильщиком до камеры хранения. Получив квитанцию, я покинула вокзал.

Единственным человеком, который знал о моём приезде, был Макс; ему я послала осторожную телеграмму. Я увидела его прежде, чем он меня заметил. Проходя мимо него, я прошептала: «Иди до следующей улицы. Я пойду следом». Казалось, за мной никто не следит. Попетляв с Максом по улицам и сменив полдюжину коноков, мы наконец дошли до квартиры, в которой жили они с Милли (Пак). Оба очень волновались по поводу моей безопасности, Макс настаивал, что было сумасшествием с моей стороны приезжать в Чикаго. Он сказал, что данная ситуация — это повторение 1887 года; пресса и полиция жаждали крови. «Они хотят твоей крови», — повторил он, убеждая меня уехать из страны.

Я была настроена остаться в Чикаго. Я понимала, что не могу жить ни у них, ни у других иностранных товарищей. Однако у меня были американские друзья, которые не были известны как анархисты. Макс сообщил мистеру и миссис Н. — которые, как я знала, очень меня любили, — что я в городе, и те сразу приехали. Они тоже волновались за меня, но считали, что с ними я буду в безопасности. Мне нужно было переждать только два дня, потому что я планировала сдать в полицию как можно скорее.

Мистер Н., сын богатого проповедника, жил в фешенебельном квартале. «Представь, чтобы кто-нибудь подумал, что я стал бы укрывать Эмму Гольдман», — сказал он, когда мы приехали домой. Поздно вечером в понедельник, когда мистер Н. вернулся из офиса, он рассказал мне, что есть возможность получить пять тысяч долларов от Chicago Tribune за сенсационное интервью. «Прекрасно! — ответила я. — Нам понадобятся деньги на мою защиту». Мы договорились, что мистер Н. приведёт представителя газеты в свою квартиру на следующее утро, а затем мы втроём поедem в полицейское управление. Вечером приехали Макс и Милли. Я никогда не видела друзей в таком возбуждённом состоянии. Макс снова повторил, что мне нужно сбежать, потому что так я добровольно лезу в петлю. «Если ты пойдёшь в полицию, ты никогда не выйдешь оттуда живой, — предупредил он. — Будет

так же, как с Альбертом Парсонсом. Ты должна разрешить нам вывезти тебя в Канаду».

Милли отвела меня в сторону. «С пятницы, — сказала она, — Макс не спит и не ест. Он ходит по комнате и повторяет: „Мы потеряли Эмму; они убьют её“». Она умоляла меня успокоить Макса обещанием, что я убегу в Канаду, даже если не намерена этого делать. Я согласилась и попросила Макса организовать мой побег. Он обрадовался и бросился ко мне с объятиями. Мы договорились, что Макс и Милли придут завтра утром с одеждой, которая меня замаскирует.

Большую часть ночи я провела за уничтожением писем, документов и других вещей, которые могли навредить моим друзьям. Закончив все приготовления, я пошла спать. Утром миссис Н. ушла на работу, а её муж пошёл в Chicago Tribune. Мы договорились, что, если кто-то позвонит в дверь, я притворюсь служанкой.

Около девяти утра, принимая ванну, я услышала звук, как будто кто-то царапает подоконник. Сначала я не обратила на это внимания. Неторопливо я закончила умывание и стала одеваться. И вдруг послышался звон стекла. Я набросила на себя халат и пошла в столовую посмотреть, что случилось. За подоконник держался мужчина, в руке у него был пистолет. Мы находились на третьем этаже, и там не было пожарного выхода. Я крикнула: «Осторожно, вы можете сломать себе шею!» «Какого чёрта ты не открываешь дверь? Ты оглохла?» Он влез через окно в комнату. Я прошла ко входу и открыла дверь. Двенадцать мужчин, возглавляемых гигантом, наполнили квартиру. Главарь схватил меня за руку и заорал: «Ты кто такая?» «Я не говорю английски — шведская служанка». Он ослабил хватку и приказал мужчинам обыскать дом. «Отойди! Мы ищем Эмму Гольдман, — он передал мне фото. — Видишь это? Мы ищем эту женщину. Где она?» Я указала пальцем на фотографию и сказала: «Эта женщина не здесь. Эта женщина большая — смотришь в этих маленьких коробках, не найти её — она слишком большая». «Да заткнись ты! — горланил он. — Никогда не знаешь, что сделают эти анархисты».

Обыскав дом, перевернув всё вверх дном, гигант подошёл к книжным полкам. «Чёрт, это обычный дом проповедника, — отметил он, — посмотрите на эти книги. Не думаю, что Эмма Гольдман была бы здесь». Они уже собирались уходить, когда один из сыщиков внезапно крикнул: «Эй, капитан Шюттлер, а это что?» Это была моя авторучка, подарок от друга, на ней было моё имя. Я не заметила её. «Ей-богу, вот это находка! — воскликнул капитан. — Она, должно быть, была здесь и может вернуться». Он приказал двум мужчинам остаться.

Я поняла, что игра окончена. Мистер Н. и человек из Tribune не появлялись, и больше не было смысла разыгрывать этот фарс. «Я Эмма Гольдман», — заявила я.

На мгновение Шюттлер и его люди застыли, словно каменные. Потом капитан заревел: «Чёрт меня побери! Ты самая хитрая аферистка, которую я видел! Быстро, взять её!»

Подойдя к машине, стоящей у тротуара, я увидела мистера Н., который приближался в компании журналиста Tribune. Было слишком поздно для сенсаций, и я не хотела, чтобы моего хозяина узнали. Я притворилась, что не заметила их.

Я часто слышала о допросе с пристрастием, используемом полицией в разных американских городах для выбивания показаний, но сама никогда не участвовала в подобном. С 1893 года я не раз бывала арестованной, однако никогда против меня не применяли насилие. В день моего ареста, 10 сентября, меня держали в полицейском управлении в душной комнате и допрашивали до изнеможения с 10.30 утра до 7 вечера. По меньшей мере пятьдесят детективов прошло через меня, каждый грозил кулаком мне в лицо и запугивал жуткими последствиями. Один кричал: «Ты была с Чолгошем в Буффало! Я сам тебя видел, прямо перед концертным залом. Лучше признайся, слышишь меня?» Другой: «Слушай сюда, Гольдман, я видел тебя с этим сукиным сыном на Выставке! Не ври мне — я видел тебя, я тебе говорю!» Опять: «Тебе конец — продолжай в том же духе и кончишь на электрическом стуле, как пить дать. Твой любовничек признался. Он сказал, что твоя речь заставила его стрелять в президента». Я знала, что они лгут, я знала, что не находилась рядом с Чолгошем, за исключением нескольких минут в Кливленде 5 мая и полчаса в Чикаго 12 июля. Шюттлер был самым ярым. Его огромное туловище возвышалось надо мной, он ревел: «Если не признаешься, пойдёшь по пути этих чёртовых анархистов с Хеймаркета».

Я повторяла им историю, которую рассказала, когда меня только привезли в полицейское управление, объясняя, где и с кем я была. Но они не верили мне и продолжали запугивать и оскорблять. В голове стучало, горло и губы пересохли. На столе стоял большой кувшин с водой, но всякий раз, когда я протягивала к нему руку, детектив говорил: «Можешь пить сколько хочешь, но сначала ответь. Ты была с Чолгошем в день, когда он стрелял в президента?» Эта пытка продолжалась часами. Наконец меня отвезли в полицейский участок на Харрисон-стрит и закрыли в решётчатом загоне, который просматривался со всех сторон.

Вскоре надзирательница пришла узнать, буду ли я ужинать. «Нет, только воды, — сказала я, — и что-нибудь от головы». Она вернулась с жестяным кувшином прохладной воды, которую я сразу же проглотила. Она ничего не могла предложить от боли в голове, кроме холодного компресса. Он оказался очень действенным средством, и вскоре я заснула.

Я проснулась от чувства жжения. Мужчина, одетый в гражданское, держал светоотражатель прямо у меня возле глаз. Я вскочила и оттолкнула его со всей силы с криком: «Ты мне глаза сожжёшь!» «Мы сожжём и не то, пока не расправимся с тобой!» — отрезал он. С короткими перерывами так повторялось на протяжении трёх ночей. На третью ночь в камеру вошли несколько детективов. «Теперь у нас есть на тебя достоверные сведения, — заявили они. — Ты получила деньги от доктора Каплана из Буффало и дала их Чолгошу. Доктора мы уже взяли, и он во всём сознался. Что ты теперь скажешь?» «Ничего, кроме того, что уже сказала, — повторила я. — Я ничего не знаю по поводу этого дела».

С момента ареста я не получила ни строчки от друзей, и ко мне никто не приходил. Я поняла, что меня держали в изоляции. Я получала письма, однако большинство были не подписаны. «Ты дрянная сука-анархистка, — было написано в одном. — Жаль, что я не могу до тебя добраться. Я бы вырвал тебе сердце и скормил бы своей собаке». «Кровожадная Эмма Гольдман, — говорилось в другом, — ты будешь гореть в аду за предательство нашей страны». Третье радостно обещало: «Мы вырежем тебе язык, окунём твою тушу в масло и сожжём тебя заживо». Описания того, что со мной сделают эти анонимные авторы в

сексуальном плане, предоставляли сведения о видах извращений, которые ошеломили бы чиновников, занимающихся вопросами морали. Авторы этих писем тем не менее казались мне менее презренными, чем полицейские. Ежедневно мне вручали стопки писем, открытых и прочитанных хранителями американской пристойности и нравственности. В то же время послания от моих друзей до меня не доходили. Было очевидно, что таким образом хотели сломить мой дух. Я решила положить этому конец. В следующий раз, когда мне дали вскрытые конверты, я разорвала их и бросила кусочки в лицо детектива.

На пятый день моего ареста я получила телеграмму. Она была от Эда, который обещал защиту от своей фирмы. «Не стесняйся использовать наше имя. Мы будем стоять за тебя до конца». Я обрадовалась этим заверениям, потому что это освобождало от необходимости молчать о моих передвижениях по делам Эда.

Тем же вечером в камеру пришёл начальник полиции Чикаго О'Нилл. Он сообщил, что хотел бы спокойно со мной поговорить. «Я не хочу тебе угрожать или принуждать тебя, — сказал он, — возможно, я могу тебе помочь». «Было бы очень странно получить помощь от начальника полиции, — сказала я, — но я с готовностью отвечу на ваши вопросы». Он попросил меня детально описать свои передвижения, начиная с 5 мая, когда я впервые встретила Чолгоша, и закачивая днём моего ареста в Чикаго. Я предоставила ему эту информацию, но не упоминала о свидании с Сашей и не называла имён товарищей, у которых останавливалась. Поскольку больше не было нужды защищать доктора Каплана, Исааков или Ипполита, я могла дать почти полное описание. Когда я закончила — всё, что я говорила, было стенографировано — начальник О'Нилл заметил: «Если только вы не очень умная актриса, то вы однозначно невиновны. Думаю, вы невиновны, и я выполню свою часть уговора и помогу вам выйти отсюда». Я так удивилась, что даже не поблагодарила его; я никогда раньше не слышала, чтобы офицер разговаривал в таком тоне. В то же время я скептически относилась к возможности успеха предпринятых им усилий, даже если бы он стал что-то для меня делать.

Сразу же после переговоров с начальником я увидела, как изменилось отношение ко мне. Дверь камеры была открыта днём и ночью, и надзирательница сказала, что я могу находиться в большой комнате, пользоваться креслом-качалкой и столом, заказывать себе еду и газеты, получать и отсылать почту. Я сразу же стала вести жизнь светской дамы, весь день принимая посетителей, в основном газетчиков, которые приходили не столько ради интервью, сколько чтобы пообщаться, покурить и рассказать забавные истории. Другие, наоборот, приходили из любопытства. Некоторые журналистки приносили подарки в виде книг или туалетных принадлежностей. Самой внимательной была Кэтрин Леки из газеты, принадлежащей корпорации Хёрст. Она была умнее Нелли Блай, которая приходила ко мне в «Гробницу» в 1893 году, и степень её социального самосознания была намного больше. Сильная и ярая феминистка, она была в то же время привержена делу труда. Кэтрин Леки была первой, кто записал мою историю о допросах с пристрастием. Она так разозлилась, услышав её, что начала пропаганду среди различных женских организаций с целью склонить их поднять этот вопрос.

Однажды сообщили о приходе представителя Arbeiter Zeitung. Я была рада увидеть Макса, который прошептал мне, что ему удалось выбить посещение только в такой роли. Он

сообщил, что получил письмо от Эда с новостями, что Хёрст послал своего представителя к Юстусу Швабу с предложением награды в двадцать тысяч долларов, если я приеду в Нью-Йорк и дам ему эксклюзивное интервью. Деньги положат на счёт в банке, доступ к которому будут иметь Эд и Юстус. Макс сказал, что они оба убеждены, что Хёрст даст любую сумму, чтобы упечь меня в тюрьму. «Ему нужно обезопасить себя в связи с обвинениями в том, что он подстрекал Чолгоша к убийству Мак-Кинли», — объяснил он. Республиканские газеты страны на главной странице печатали истории, где Хёрста связывали с Чолгошем, поскольку во время пребывания Мак-Кинли у власти газеты Хёрста постоянно нападали на президента. В одной из газет появилась карикатура, где за спиной Чолгоша стоял издатель и подавал ему спичку, чтобы зажечь фитиль от бомбы. Теперь Хёрст кричал громче всех, требуя уничтожения анархистов.

Юстус и Эд, а также Макс безоговорочно выступали против моего возвращения в Нью-Йорк, но они считали своим долгом рассказать мне о предложении Хёрста. «Двадцать тысяч долларов! — воскликнула я. — Какая жалость, что письмо Эда пришло так поздно! Я бы однозначно приняла предложение. Подумай о борьбе и пропаганде, которую можно было бы организовать!» «Ты как обычно сохраняешь своё чувство юмора, — заметил Макс, — но я рад, что письмо пришло слишком поздно. Твоё положение и так серьёзно, и Хёрст только усугубил бы его».

Ещё один посетитель был адвокатом из офиса Кларенса Дэрроу¹¹⁸. Он пришёл предупредить меня, что я врежу своему делу настойчивой защитой Чолгоша: этот человек сумасшедший, и мне стоит это признать. «Ни один известный защитник не возьмётся за вашу защиту, если вы дружелюбно относитесь к убийце президента, — уверял он. — На самом деле, у вас есть настоящая возможность быть признанной соучастницей преступления». Я потребовала объяснить, почему мистер Дэрроу сам не пришёл, если он так за меня волнуется, но представитель уклонился от ответа. Он продолжал обрисовывать моё дело в мрачных тонах. Мои шансы на выход в лучшем случае были малыми, казалось, слишком малыми, чтобы позволять какой-то сентиментальности их уничтожить. Мужчина настаивал, что Чолгош сумасшедший, все это видят, и кроме того, он полный негодяй, потому что впутал меня в это дело — трус, прикрывающийся женской юбкой.

Мне были противны его доводы. Я сказала, что не желаю чернить благоразумие, характер или жизнь беззащитного человека и что я не хочу никакой помощи от мистера Дэрроу. Я его никогда не встречала, но давно знала, что он был талантливым адвокатом, человеком широких общественных взглядов, способным писателем и лектором. Согласно его газетам, он интересовался анархистами, арестованными во время рейда, особенно Исааками. Казалось странным, что он посылает мне такой достойный порицания совет и ожидает от меня, что я присоединюсь к бешеному хору, желающему отнять жизнь у Чолгоша.

Страна была охвачена паникой. Из-за информации в газетах я была уверена, что с ума сошёл не Чолгош, а народ Соединённых Штатов. С 1887 года не чувствовалось такой жажды крови, такого дикого желания воздаяния. «Анархистов нужно уничтожить! — бушевали газеты. — Их нужно утопить в море; подобным стервятникам не место под нашим флагом. Эмме Гольдман слишком долго позволяли заниматься своим кровавым ремеслом. Нужно заставить её разделить участь тех, кого она одурачила».

